

Верно в самом деле мы живем в усиленно религиозное время, когда самые молодые головы начинают интересоваться не новыми насущными вопросами, но очень старыми и, казалось бы, интересными только для стариков. Мне пишет аноним:

«...Живу я в немецком местечке, и мне часто приходится бывать в обществе лютеран, где то́ и дело поднимаются вопросы о религии. На днях в одном из подобных религиозных споров я был поставлен в очень неловкое положение следующим вопросом: «Почему у вас, русских, есть всевозможные мощи, святые, чудеса, и неужели у немцев нет и не было ни одного человека, достойного быть святым? или явиться нетленным мощам? Особенно — последнее?» Спрашивал я об этом у священников, говорят (автор пишет из провинции), что «не нашего ума дело» и т. д. Не желая же оставить этот вопрос не разрешенным, я покорно просил бы вас, м. г., не отказать ответить на него или на страницах газеты, или письмом (туда-то). Как еще много есть у меня вопросов к вам, но не могу беспокоить вас, и без того занятого делом. Настоящий же вопрос очень хотел бы разрешить, так как мои соперники в спорах уже начинают поднимать голову: «вот, дескать, срезали наконец, не нашел, что ответить». А как это больно и обидно, г. Р., сознавать, что не могу ничего ответить. Вы можете себе представить их радость. Неужели вы не выручите меня? Не дайте посмеяться над Православной Русью».

Очень милое и деликатное и очевидно юное письмо. Конечно, этими вопросами лучше заниматься, чем пить пиво в портерной. И молодые люди русские очень многое приобрели бы, если бы вернулись к старым вековым вопросам от насущных ежедневных.

«По вере вашей — дастся вам», вот узел вопроса о мощах. Я думаю, что у народов, которые не верят в мощи, и действительно их нет и не может быть; но у народов, которые в них веруют, действительно есть мощи. У лютеран есть прекрасные, глубоко человеческие, глубоко мудрые и пламенно верующие люди. Может быть (и даже наверно) — больше, чем у нас, ибо мы весьма плохи во всех линиях. Но у них нет не только в факте, но и в идеале — «святого человека», «угодника Божия». Ни Лютер, ни безусловно какой-либо правдивый, честный, величайшей души человек-протестант, тем не менее, не входит и, главное, вовсе не хочет войти в тот, нам привычный и для нас постижимый, очерк человека, к коему мы прилагаем имя: «святой». Иоанн IV губил людей; вдруг юродивый подает ему кусок коровьего мяса. «Я не ем скоромного в пост», — ответил грозный царь. Никита возразил: «А человеческое мясо ешь?» Это тип, и речь, и манера святого человека. Германский правдолюбец поднял бы против жестокости восстание, устроил бы заговор, произнес бы в собрании народа пламенную речь. Но святой поступил совсем иначе, пожалуй — и бессильно, но, во всяком случае, совсем в другом очерке человека. Минин как много сделал для Руси. Но он сделал все в формах обыкновенного человека: сказал речь, собрал войско, повел в Москву. И Русь его «святым» не назвала. В святость входит некоторая странность поведения, «юродивость»; первое, прижизненное имя для святого: «человек божий». А потом он канонизируется: в некоторых случаях открываются его мощи.

Первые «мощи» христианского мира — Христос во гробе. Лютеране вообще как-то не углубляются в христианство и, будучи мудры, все-таки как-то скользят по поверхности вещей и вопросов. Если «Господь в гробу» — то степени приближения к Богу, т. е. святость, непременно выразятся в «гробовых останках». Мощи вовсе не есть что-либо обрубленное в себе самом, не есть разрозненный и одиночный факт; они глубочайшим образом затканы во всем составе христианства, в целостности мысли его. Чудные наши заупокойные напевы не есть ли уже некоторое предуготовление к идее мощей, не есть ли некое ожидание или мечта о святости, наступившей для умершего? Не святости, но — почти святости. Все, что живет, — грешно; а что не живет более — избежало греха. Все, что рождается, — нуждается в очищении; а смерть и есть настоящее очищение, наступающее для «я». Есть в человеческом составе смертный человек, и есть в человеческом составе бессмертный человек. Смертный человек — метется, суетится, тревожится, любит, ненавидит — и все это грех; «несть человек, иже не согрешит, аще и миг единый проживет», поется в одной церковной песне. И, например, новорожденный человек — полон греха, и если умрет до крещения — не пойдет в светлое место рая. Обратно этому, чем ближе к смерти — больше святости; и весь народ говорит: «хорошо пострадать, страдания нам посылает Бог», т. е. в страданиях — святость. Благодетельные русские (я много раз слышал) боятся умереть внезапно и даже боятся и не хотят умереть безболезненно: когда мой покойный брат умер в постели ночью, заснув и не проснувшись (разрыв сердца), и я принес это известие к себе в дом, то родственница, очень ею любившая, залилась слезами. Я удивился. — «Что без покаяния умер? но ведь это произвольно и тут нет греха», — возразил я. — «Как без покаяния? Не в этом дело. Но как страшно умереть, не переболев, не выболев грехов своих, не пострадав! Так животные умирают!..» Во всяком случае — вот воззрение. Все построение христианской святости приурочено к смерти. И святой затворник, спасающийся в пустыне, построит себе гроб, с любовью и без страха смотрит на него, на ночь в него ложится. Одна моя родственница, семидесяти лет, вот уже лет двенадцать, куда бы ни поехала, берет с собой особое заготовленное белье, в которое ее одели бы в случае смерти и не в своем дому. Она как бы заготовила себе гроб и с любовью носит его с собою.

Этому настроению святости и отвечают мощи — и вот отчего они равно есть у нас и у католиков, и их нет только у протестантов, вообще не имеющих самой идеи святости и образа и прототипа святого человека. Когда святой человек умер, то собственно двигавшееся, боявшееся, мятущееся, смущенный ум и колеблющееся сердце, от него отлетели. Но есть некий малый остаток его бытия в гробу, образ бытия Христа в гробу: и вот это уже благоухает нетленной святостью. Сообразно с общим построением религии, мощи святее храма, святее молящихся, святее церковной службы: на частице святых мощей становится Престол в алтаре, святейшее место всего храма. И без мощей нет ни храма, ни литургии, ничего. Таким образом, это вовсе не есть часть Православия, а краеугольный камень его. И потрясти или самому поколебаться в вере относительно мощей — значит сдвинуть с места все Православие. В Риме на первый день Пасхи я пошел в русскую посольскую церковь к поздней литургии. Когда стали петь, я стал вслушиваться в звуки и тайную музыку наших церковных напевов. Все они таковы, что и в них как бы «умерли все стихи земные»; нигде удара голоса, восклицания, ничего горячего, страстного, т. е. могуче и благородно-страстного, что для музыки доступно и выразимо. Все спокойно, тягуче — звучит, но уже бесстрастными звуками. Нерва и крови, жизни и бытия в пении нет. Как бы это поют лики угодников из-за золотистых риз своих, и пение это — прекрасное, особенное, неземное пение. Таким образом, вот даже и такая подробность, как церковная музыка, приурочена тоже к мощам, есть как бы звуковой венчик на лбу почившего: и все вытекает из общей и главной мысли христианства, что «Господь в гробу». Вот, сколько я умею, я ответил юноше и, может быть, многим.

\*

P. S. Теперь, сделав объяснение для другого, я прибавлю объяснение для себя, и почти — про себя (полупшепотом). Иногда сделать

резкое сопоставление, яркий контраст, ранее не приходивший в голову, — значит бросить свет на обе сопоставленные вещи, дотоле неясные каждая в себе самой. Цитирую из Хрисанфа «Религии древнего мира», т. III, стр. 106:

«Животная форма, в какой изображаются боги, и почитание этих священных животных — вот что в Египте поражало еще древних — и остается поразительным для нас. В самом деле, когда любопытствующий просил показать ему египетские святыни и когда жрец — как описывает это Климент Александрийский («Stromata», lib. V, 7), — проводя его в храм через длинный ряд различных зданий, в самой глубине святилища, во мраке указывал на кошку или на другое животное, говоря, что «это — бог», то нельзя было не прийти в сильнейшее изумление!»

Противоположное теперешнему — вот и все! Им если бы указать на частицу трупа как центр нашего поклонения, то они, вероятно, с такими же широко раскрытыми глазами сказали: «До чего это изумительно!!!» Теперь у нас и в древности, в библейские и добиблейские времена, существовали очевидно диаметрально противоположные воззрения на «святое» и «грешное»: и отсюда эта разница «святого» и «не святого». И у евреев Соломонов храм, как и Моисееву скинию, наполняли животные же: телицы и юные бычки, овцы, бараны, козлы и козы, горлинки и голуби. Да и мы можем вспомнить завет старца Зосимы:

«Птичек любите; всякую тварь Божию любите» («Братья Карамазовы»); «паук ползет по стене — я и ему молюсь» (слова Кириллова в романе Достоевского «Бесы»). Не частицы ли это египетского поклонения, до нашего времени сохранившиеся или каким-то чудом возрождающиеся ныне вновь?..